РОМАН

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЯЩЕГО



Память — это не то, что мы помним.
Это то, что мы поём другим.

Станислав Петров

Колыбельная для Спящего

https://litres.ru/74715639
SelfPub; 2026

Аннотация

В долине, окружённой спящими горами, зима длится девять месяцев, а единственное тепло даёт живой Огонь. Плата за него — имя. Каждую осень семья отдаёт Огню одного из своих, и в ту же ночь родные выпивают тихую воду, чтобы забыть его навсегда. Отданные становятся безымянными: они служат Огню в подземном городе, и только их память греет долину.

Когда Дом Тишины требует от села Крутой Лог второе имя за одну зиму — и называет фамилию Ольховых, — шестнадцатилетняя Дарёна решает вернуть того, кого у неё уже забирали однажды. Шесть лет назад её брат ушёл к Очагу и стал Девятым. Теперь он, как все безымянные, не помнит её.

В каменном городе Дарёна находит правду, которую Дом Тишины берёг двести лет: Огонь гаснет не от забвения. Ему не хватает песни, которую людям запретили петь. И вернуть брата можно только дороже всякой памяти — заплатив не именем, а голосом.

«Колыбельная для Спящего» — роман о цене забвения, о дыме, который будит горы, и о песне, которую нельзя не допеть.

Содержание

Часть первая. СОЛЬ И РЯБИНА 4
Глава 1. Третий оброк 4
Глава 2. Тёплый камень 15
Глава 3. Тихая вода 26
Глава 4. Обоз 37
Глава 5. Каменный город 48
Глава 6. Дом Тишины 59
Конец ознакомительного фрагмента. 71

Станислав Петров
Колыбельная для Спящего

Память — это не то, что мы помним.
Это то, что мы поём другим.
из песен Рябинового Дола

Часть первая. СОЛЬ И РЯБИНА

Глава 1. Третий оброк

Зима пришла на Покров, на два месяца раньше срока, и ударила сразу, без мягких дней.

Дарёна вышла во двор затемно. Бочку за ночь схватило насквозь, обух отскакивал и дёргал руку до локтя, и только с четвёртого удара из бочки вылетел угол с мутным пузырём посередине. Подол стал колом, рукавицы намокли. В дом она вернулась с двумя кусками льда в подоле и с ведром, по краю которого уже взялась корочка.

В доме было холоднее, чем во дворе, — так ей казалось каждое утро. Камень держали в чугунке, опрокинутом кверху дном: так он отдавал тепло медленнее. Вчера вечером Дарёна ещё грела о чугунок ладони, а к утру чугунок и камень

в нём стали одной температуры с сенями. Камень не выдаёт, что умирает. Он просто перестаёт отвечать.

Положено ему три дня. В стужу — один. Стужа встала позавчера — стало быть, срок вышел по-честному, и спорить тут было не с кем.

Она поставила на чугунок глиняную плошку с толокном — пусть размякнет, пока она носит лёд. Толокно не размякло. Ели с холодной водой, ложкой по очереди: сперва отцу, потом себе. Хлеб в Крутом Логу пекли раз в неделю, в общинном доме, на камне шириной с тележное колесо, и нонешняя коврига кончилась вчера. Коврига ржаного шла за две деньги. Соль — за четыре, и была та соль не солью, а серым песком с горчинкой; хорошая приходила с юга, из Соль-Гавани, и стоила таких денег, что её брали к свадьбе и к покойнику, а в обычный день солили воду для вида.

На чердаке висели две вязки рябины, промороженной по первому снегу. Мать говорила: рябина не еда, рябина — приправа к терпению.

Отец не вышел к столу. Дарёна отнесла ему плошку в кузню — он сидел с той стороны, где нет огня. Горн был заложен насухо кирпичом шесть лет назад, самим отцом; мехи висели на стене, перехваченные ремнём, и на ремне выступила соль. Он ковал в холодную: гнул обручи, клепал вёдра, правил сошники. За холодную работу платили вдвое меньше, но платили. Он взял плошку молча и стал есть, глядя в заложенное устье, где за кирпичом ничего не было.

Отец не разговаривал с ней год. С той ночи, как она, затопив по глупости щепу, запела над чашкой отцовскую колыбельную и услышала за спиной его шаги, — он не ударил её и не прикрикнул. Просто перестал говорить. Щепу она тогда затоптала босыми ногами, пока не остыла.

Через плетень, со стороны Мельниковых, стучал топор. Степан колол плахи — не на дрова, дров в Крутом Логу не держали с той зимы, как печи заложили, а на щепу, щепа шла в общинный дом, где малый огонь дозволялся, если без дыма. Кололось у него плохо, топор вертелся в руках.

— Дарёна, — позвал он через плетень. — Сказывают, нонеча оброк объявят.

— Сказывают.

— И что будет?

— Что будет, то и объявят.

— А кого возьмут?

— Кого назовут, того и возьмут. Ты ноготь не грызи, до кости догрызёшь.

Степан посмотрел на свой палец и спрятал руку за спину.

— Мать с ночи не спит. Думает, нас.

— Все думают, что их.

— А вас? Вас же уж брали.

Дарёна взяла у него из поленницы плаху и поставила на попа.

— Нас брали. Нас и возьмут, — сказала она. — Тут не по совести считают. Тут по строке.

По селу стукнули в било — трижды, коротко, как стучат, когда зовут всех, а не одного.

У околицы стояли сани с выжженным на борту знаком Дома: круг, а в круге пусто. Возле саней двое в сером сукне, третий держал лошадей. Толпа на площади стояла редкая и притихшая, пар от дыхания шёл над головами низкой сплошной стеной. Пахло мокрой шерстью и конским потом, и ещё — тихой водой: у глушителей в санях стоял ящик, а в ящике, в соломе, — глиняные чашки, и от них шёл сладковатый, чуть известковый запах, от которого Дарёне всегда хотелось пить.

Она встала у столба, рядом со Степаном Мельниковым. Степан грыз ноготь на большом пальце до мяса, а мать держала его за плечо и не смотрела ни на него, ни на кого другого. На столбе висели прошлогодние листы, размокшие и обтрёпанные по краям: их никто не снимал.

Человек в сером сукне поднялся на крыльцо общинного дома. Кожаный нагрудник, шапка с меховой опушкой, на шее — шнурок, и на шнурке качнулась тёмная, обтёртая бусина; он накрыл её ладонью и убрал под воротник, будто спрятал от чужих глаз. Дарёна его знала: он приезжал дважды в год, весной и по осени, проверять, кто чем дышит. В селе его звали дозорным, а по имени не звал никто, потому что имя за человеком из Дома лучше не повторять.

Он развернул лист и стал читать — ровно, без нажима, как человек, который читает не своё.

— Волею Дома Тишины и Настоятельницы Аглаи. Тёплый оброк нонешней зимой — с трёх дворов, а не с семи. Ольховы. Мельниковы. Гавриловы с выселков. Ночи Забвения — три: первая Мельниковым, вторая Гавриловым, третья Ольховым. Имя с двора — ваша воля. Список — воля Дома.

Он сложил лист. Никто не заговорил, и в этой тишине Дарёна услышала, как у кого-то за спиной скрипит снег под валенком: человек переступал с ноги на ногу и не мог остановиться. Голос был негромкий, но его услышали и у последних саней.

Потом заговорили все разом, и всё равно негромко, будто в чужом доме. Гавриловы с выселков стояли кучкой у саней — четверо мужиков и старуха в двух платках; старуха мелко кланялась саням, а один из мужиков снял шапку и держал её в руках, хотя мороз был такой, что уши стыли за десять шагов. Одна из баб села прямо в снег и завыла — ровно, длинно, на одной ноте, как воют по покойнику. Глушитель поднял её под руки, поставил на ноги и не сказал ни слова.

Писарь — скорый на руку, в варежках с прорезанными пальцами, с чернильницей на шнурке — прибил лист к столбу рядом с прошлогодними и отступил на шаг, любуясь, как он висит.

Толпа двинулась расходиться. Дарёна шагнула вперёд.

— Постой, — сказала она. — Прочти третью ещё раз.

— Третья — Ольховы, — сказал писарь, не оборачиваясь.

— Слыхала.

— Ольховы платили. Шесть лет назад. Ратмира отдали, и мать после того не встала.

— Список не про то, кто платил, — сказал писарь. — Список про то, кто остался.

— У нас осталось двое.

— По списку — трое. — Он развернул книгу на колене и провёл пальцем по строке. — Ты. Отец. Устинья Ольхова. Устинья значится.

— Её пять лет как нет.

— А в списке значится, — сказал писарь и захлопнул книгу.

Толпа за спиной перестала расходиться. Кто-то кашлянул в кулак, длинно и с присвистом: старик-пастух, что держал общинное стадо, кашлял так каждое утро, и его кашель в селе знали лучше его имени.

— Тогда берите её, — сказала Дарёна. — По списку. Ей тепло не нужно.

— Ты языком не мели, девка.

— Указ сам сказал: по списку.

— Имя своё назови, — сказал писарь.

— Зачем?

— Затем, что я его в книгу впишу. Будешь плакать — по имени позову. Их так и кличут, по книге, а не по памяти.

— Указ не мой, — сказал дозорный с крыльца, негромко. — Я его читаю, а не пишу. Иди домой, девка.

Дарёна не пошла. Она шагнула к столбу и рванула лист — бумага отошла с сухим треском, в столбе остался один гвоздь, а на ладони ржавая полоса. Писарь вскрикнул коротко, по-куриному, и прикрыл книгу обеими руками, будто лист мог из неё выпасть.

Стражник у саней тронулся с места. Дарёна почувствовала отцовскую руку на своём плече — тяжёлую, через тулуп, — и такой руки она бы не стряхнула, даже если бы очень захотела.

— Как звать-то? — крикнул писарь ей вслед и зацарапал пером, не дожидаясь ответа.

Отец вёл её через площадь за плечо, толпа расступалась молча, и Дарёна слышала за спиной шёпот: не слова, а одно слово, повторённое трижды. Ольхова. Ольхова. Ольхова.

Степан Мельников смотрел ей вслед, прижимая разбитый ноготь к губам.

Дозорный догнал их у последних саней и пошёл рядом, глядя вперёд, поверх голов.

— Девка, — сказал он. — Чашку в третью ночь выпей.

— Не буду.

— Не из храбрости, — сказал он. — Из счёта. Со мной глушители придут, у них на каждый двор своя строка. Двор выпил — строка закрыта. Двор не выпил — придут ещё раз, и тогда уже не с чашкой.

— А вы? — спросила Дарёна. — Вы свою выпили?

Дозорный не ответил. Он отстал, пошёл к саням, и на ходу

сунул руку за воротник — поправить шнурок.

Мельникова — Степанова мать — догнала их у колодца и пошла рядом, глядя под ноги.

— Ты нонеча помолчи, — сказала она. — Слышь? Помолчи хоть до весны.

— Он сказал: по списку трое.

— Список — бумага. Бумага стерпит.

— А Степан? — спросила Дарёна. — Он-то что стерпит?

Мельникова не ответила. Она отстала у сруба, и когда Дарёна обернулась, соседка стояла, держась за колодезный ворот обеими руками, и смотрела, как они уходят.

Дома отец выпустил её плечо, снял тулуп, повесил на гвоздь и стал мешать в горне золу. Не огонь — золу. Золы там не было шесть лет, но он мешал.

— Скажи слово, — сказала Дарёна. — Одно. Год молчишь.

Он не обернулся.

— Тебе велят отдать имя. Ты отдашь своё, да? Думал, я не вижу? Ты своё имя Огню отдашь, как щепу в горн. А я моложе, памяти во мне больше, они это знают. И ты знаешь. И молчишь.

Он поставил кочергу. В горне звякнуло — он выронил совок.

— Пей воду, дочь, — сказал он.

Голос был сорванный, как у человека, который год не открывал дверцу.

— В третью ночь принесут чашку. Не спорь, не гляди им в глаза. Выпей до дна.

— Чтобы забыть тебя?

— Чтобы жить.

— Это одно и то же?

— Нет, — сказал он. — Не одно.

Он подобрал совок и снова стал мешать золу, и Дарёна поняла, что других слов на год вперёд у него нет.

На полке над устьем печи стояли шесть глиняных чашек, одна к одной. В каждой на дне темнело кольцо — след от тихой воды, что высыхала. Каждую осень чашку приносили полной. Отец не пил. Он выливал воду в ту же чашку и ставил её на полку, и вода уходила, а кольцо оставалось. Шесть колец. Шесть лет. Седьмая чашка придёт в третью ночь, и Дарёна поймала себя на том, что прикидывает длину полки, а не считает годы.

Мать умерла через год после того оброка, в такую же стынь. Её камень остался лежать в чугунке, и его не вынули до весны, и весной он был холоднее льда. Дарёна помнила не лицо — руки: мать ставила чугунок кверху дном и говорила, что чугунок тоже греет, кто не верит, пусть приложит ладонь и подержит.

Она сняла верхнюю чашку. Кольцо на дне было шершавое под пальцем, и его хотелось стереть.

— Ты не пьёшь шесть лет, — сказала она. — Тебе легче?

— Нет.

— Тогда зачем?

Отец посмотрел на неё впервые за год — прямо, тяжело.

— Потому что кто-то должен помнить. Если никто не помнит, его и не было.

— Ему-то что с того? Ему от нашей памяти не теплее.

— Мне, — сказал он. — Мне теплее.

— А Ратмир? — спросила Дарёна. — Ты его помнишь?

— Помню.

— Какой он был?

Отец долго шевелил золу, прежде чем ответить.

— Он смеялся, когда бил молотком. Не со зла. Поднимал молоток и смеялся, будто ему одному в кузне весело.

— Я такого не помню.

— Тебе шесть было, — сказал он. — Ты не воду пила, ты просто мала была. А я помню.

За окном стемнело рано. Дарёна вышла в сарай за сеном и задержалась там дольше, чем нужно. Сняла с гвоздя вилы, пересчитала зубья — пять. Пересчитала снова: пять. В третий раз — тоже пять, и это её не успокоило. Она повесила вилы и разозлилась на себя сильнее, чем на всё, что было на площади.

Она достала из-за пазухи смятый лист. Читала она по складам, медленно, мать научила её водить пальцем по буквам, и в темноте сарая от букв не оставалось ничего, кроме серых полос. Тогда она сложила лист вчетверо и сказала вслух то, что запомнила:

— Ольховы. Мельниковы. Гавриловы. Ночь первая — Мельниковым. Ночь третья — Ольховым.

Слова вышли ровно, как у дозорного, и от этого стало противно. Она сунула лист обратно за пазуху, под тёплое.

Ночью со стороны Спящих пришёл звук — не ветер и не зверь. У хребта есть такой низкий звук: камень где-то глубоко шевелится, и звук идёт по земле, а не по воздуху, и его слышно подошвами раньше, чем ушами. В детстве Дарёна думала, что гора спит и говорит во сне. Мать говорила: не говорит, а шепчет, — и на этих словах закрывала ей рот ладонью.

В кармане лежала рябиновая бусина. От материнских чёток, последняя; остальные ушли в оброк вместе с медным котлом и санями. На бусине был след от зуба — Дарёна грызла её в шесть лет, когда ей было страшно в темноте, а говорить об этом было нельзя. Бусина пахла деревом и чуть-чуть дымом, хотя дыма в доме не было шесть лет.

Она сжала бусину в кулаке и держала, пока тепло её ладони не перешло в дерево целиком.

Камень в чугунке остыл окончательно.

Бусину она согрела сама.

Глава 2. Тёплый камень

На раздачу камней Крутой Лог сходился, как на праздник, — без песен и без смеха, но все, кто мог идти сам.

Дарёна пришла за час до полудня и всё равно оказалась не первой: очередь вдоль общинного дома стояла до самого угла, и бабы в конце её топали валенками и грели руки о собственные бока. Пахло прелым сукном, чесноком и стужей, которую принесли на шубах с утра.

Писарь сидел на ящике, положа книгу на колено, и при каждом дворе заглядывал в неё, будто в книге были не имена, а мерка. Камень выдавали в голую ладонь — проверить. На морозе тёплый камень узнаёшь сразу: он сначала жалит ладонь, и только потом тепло становится теплом.

— Камней в раздаче сорок, — объявил он, не вставая. — На тридцать шесть дворов. Стало быть, кому камень, кому очередь, а кому пристройка — до следующей раздачи. Терпите.

Никто не зароптал. В Крутом Логу к короткому счёту привыкли давно: счёт всегда выходит короткий, а зима длинной.

Дозорный стоял у притолоки и не участвовал в выдаче. Он считал. Считать было по чему: в руке он держал щепку и при каждом дворе резал на ней зарубку, не глядя, ножом с узким лезвием. Когда зарубок становилось десять, он откладывал щепку в ладонь и начинал новую. Дарёна смотрела на

его губы: они двигались беззвучно, как у человека, который повторяет наизусть не свой счёт.

Бусину она держала в кармане, сжатой в кулаке. Очередь подвигалась по полшага, и каждый раз, когда писарь выкликивал чей-то двор, тёплая струя от ящика доходила до неё и оседала на лице инеем.

— Ольховы, — выкликнул писарь, не поднимая головы.

Она шагнула к ящику и протянула ладонь. Писарь поднял глаза, узнал её, и угол рта у него поехал в сторону.

— А, это ты, — сказал он. — Пальцы кажи.

Она развернула ладонь. Писарь пошарил в ящике по самому краю, где солома была примята и холодна, вытянул камень и уронил ей в руку, не держа.

— С верхнего краю, — сказал он. — И скажи спасибо, что не «подожди». Этот держит, может, два дня, а не три. С прошлой раздачи остаток.

Камень был маленький, с куриное яйцо, и тёплый только с одной стороны. Дарёна не сказала спасибо. Она сжала камень в кулаке и шагнула в сторону, пропуская следующего.

Очередь таяла. К концу её у ящика оставались одни старики, и камней в соломе почти не было: писарь встряхивал ящик, опрокидывал его набок, выгребал солому горстью.

Старик-пастух стоял последним. Тот самый, что кашлял на площади. Он топтался у ящика, дышал в кулак, и кашель раскатывался по всему двору.

— Всё, — сказал писарь. — Пусто. Обожди до следую-

щей раздачи, дед. Или в пристройку ступай, там остаточным камнем топлено, сиди, сколь влезет.

— Дак овцы на выгоне, — сказал старик. — Стужа-то давит, приморозило к вечеру. Кто их гонять будет?

— Овцы обождут, — сказал писарь и прикрыл ящик крышкой. — И ты обожди. Тут, дед, по очереди: кому камень, кому очередь, кому пристройка.

Старик постоял, подышал в кулак и побрёл прочь, и по кашлю было слышно, куда он идёт и далеко ли отошёл.

Дарёна сунула свой камень в карман, к бусине, и не отдала его старику. Сказала себе, что отцу холоднее, и пошла домой. Сказала — и не поверила себе.

За её спиной зароптали. Баба, стоявшая ближе всех, ткнула Дарёну локтем в спину и спросила громко, не для ответа:

— Много ль отсыпал-то? Малый камень?

— Малый, — сказала Дарёна. — Тёплый.

— И на том не кланяются, — прошипела баба. — Ольховым нонеча всё не так, зато всё самое малое достаётся.

Дарёна не обернулась. Она шла и загибала пальцы на том, что ждало её дома: зола, заслонка, овца, вода, — и на воде пальцы кончились, а двор всё не начинался.

Пристройка у общинного дома — длинный сарай, сбитый из горбыля, с проконопаченными паклей щелями — стояла отворённой. Внутри на лавках сидели старики: пятеро, в тулупах, привалившиеся к стене, один с костылём поперёк колен. Остаточным камнем топили не печь, а железный ящик

посередине, и от него тянуло сухим жаром ровно на полшага; кто сидел ближе, того грело, кто дальше — тому не грело. Тепла тут хватало на то, чтобы не замёрзнуть до утра, и ровно столько же — на то, чтобы к утру закашляться.

Старик-пастух в пристройку не пошёл. Дарёна видела, как он выбирается за околицу, распоясываясь на ходу, и валенки его печатают по насту следы крупные и частые, как у человека, который куда-то страшно опаздывает.

Ночью старика нашли на выгоне. Овцы стояли вокруг него плотно, бок к боку, и дышали на него паром, и к утру он всё равно остыл — сел на камень отдохнуть и так и остался сидеть, с кнутовищем поперёк колен. Первый труп зимы. Сосед, что нашёл, говорил потом: овцы ещё тёплые были, а он уже нет, и это оказалось тяжелее всего, потому что овцы животные глупые и не понимают, отчего их хозяин не встаёт.

Могилу долбили ломом. Земля звенела и не поддавалась, отдавала в руки прямым холодом, и к полудню яму выдолбили боками, не вглубь, потому что глубже шёл вечный лёд. Долбили по очереди, по минуте на человека: на морозе от лома сводило пальцы даже через рукавицы, и очередь эта была длиннее, чем утром за камнями. Овцы, согнанные с выгона, жались к сараю соседа и блеяли тонко, по-детски, не узнавая никого из людей.

— Зачем кнутовище-то с ним положили? — спросила Дарёна у бабы рядом.

— А чтобы было чем овец гонять по дороге, — ответила

та и сама не поняла, что сказала, и заплакала без голоса, одними ладонями по лицу.

Пастуха завернули в рогожу, не обмывая: воды в Крутом Логу хватало на питьё и на кашу, а на покойника её никто не отмерял. Несли на санях. Плакали молча, без голоса: голосить было нельзя, а петь — тем более, и от этого плач вышел негромкий и злой, будто селу запретили не песню, а сам плач.

Христина стояла у околицы, в двух платках, и смотрела, как проходят сани. Когда Дарёна поравнялась с ней, старуха тронула её за рукав.

— Пойдём, дев, — сказала она. — У меня горшок с камнем стоит, и рябина в узле. У тебя до вечера ноги есть. А у меня слова есть.

Изба у Христины стояла на отшибе, над самым логом, и в ней было теплее, чем во всех домах Крутого Лога, где Дарёна когда-нибудь бывала. Христина держала камень в горшке, а горшок стоял в нише над лежанкой, и оттуда шло ровное, сытое тепло, как от большой печи в детстве. На гвозде висели пучки сухой рябины, на окне — берестяной туесок. Христина вынула из-за печи лепёшку, не ржаную, а почти белую, и разломила пополам.

— Ешь, — сказала она. — Не спрашивай, где взяла. В такие дни лучше не спрашивать, откуда белый хлеб.

Дарёна ела. Хлеб был тёплый, и корочка отставала от мякиша.

— Ты для чего меня позвала? — спросила она с набитым ртом.

Христина села напротив, легко, по-старушечьи, и долго смотрела на Дарёну.

— Затем, что ты носишь материну бусину, — сказала она. — И затем, что не выпьешь тихую воду, когда поднесут чашку. Я это чую.

— Чего тут чуять? Все знают: Ольховы пьют через силу.

— Отец твой не пьёт вовсе, — сказала Христина. — И я не пью. И ты не выпьешь. Три держащих на один лог — много для такого села. Глушители ищут, кто помнит вслух. А ты, девка, помнишь громко, у тебя всё на лице написано, крупными буквами и без переносов.

— Я о нём при людях не плачу.

— Не при людях — тоже слишком, — сказала Христина. — Отвечай на то, что спрошу. Брат. Ратмир. Лицо его помнишь?

— Помню, — сказала Дарёна и осеклась.

— Правду говори. Не мне — себе.

Она помолчала и ответила тише:

— Лица не помню. Руки помню. Он меня на сани подсаживал — руки помню.

— А голос?

Дарёна долго смотрела в туесок на окне.

— Голоса не помню, — сказала она.

— Вот то-то, — сказала Христина. — Имя забывается не

с бумаги, а с голоса. Сначала голос, потом лицо, потом имя. Потом ничего. — Помолчала. — Он жив. Брат твой жив.

Дарёна вцепилась в край лежанки. Тепло из ниши давило на щёку.

— Где? — спросила она.

— В Тихограде. В Дне, при Очаге. Безымянным там имён не дают: дают числа по месту у Очага — кто где стоит, тот так и зовётся. Твой стоит девятым от жерла, потому и Девятый.

— Откуда знаешь?

Христина сняла с гвоздя пучок рябины и стала перетряхивать его над ладонью, будто проверяла зерно.

— Сказывал человек, что соль возил и в Дно спускался за тёплыми, — сказала она. — Говорил: есть у Очага один, сухой, пальцы обожжены, слово чёрное, режет. Девятым от жерла стоит, так его и кличут, а своего имени он уже не помнит.

— Зачем ты мне это говоришь? — спросила Дарёна. — Чтоб я поехала и сгинула, как он?

— Затем, что Огонь голодает, — сказала Христина и положила пучок на колени. — Слышь меня, девка. Он теперь не столько греет, сколько просит. Камни остывают раньше срока, ты сама нынче видела. А старику камня не досталось вовсе — и к утру не стало старика. Огонь не оскудел. Его кормить перестали.

— Его кормят именами. Каждую осень.

— Имя — плохой корм, — отрезала Христина. — Имя

теперь — как твой камень с верхнего краю: держит два дня, а не три. Памяти в именах осталось на два дня. А Огню надо больше.

— Чего ж ему надо?

Христина не сразу ответила. Она смотрела на Дарёну, и камень в горшке за её спиной щёлкнул — коротко, один раз, будто внутри у него что-то переломилось.

— Песни, — сказала она. — Только петь нельзя.

Тишина в избе стала плотной, как всё тепло, что висело под потолком.

— Пение — запрет, — сказала Христина ровно. — Двести лет как запрет. Кто поёт, тот имя отдаёт раньше срока. Или не имя. Себя целиком.

— Мать пела, — сказала Дарёна.

— Мать пела. — Христина не отвернулась. — И мать твоя ушла раньше срока. Ты сама подумай.

Дарёна встала. Хлеб в руке стал тяжёлым.

— Ты знаешь колыбельные? — спросила она.

— Знаю. Какими Спящих укачивали, пока Дом не встал поперёк долины. И не спою. Ни тебе, ни себе, ни Огню. Попросишь — откажу.

— Почему?

— Потому что я ещё не всё сказала, а чего-то и вовсе не скажу. — Христина вздохнула, сняла с полки берестяной туесок, повертела его в руках и не открыла. — Вот тут наши певуньи что оставили. Береста. Но береста не поёт, она толь-

ко скрипит, как твой отец в горне. Настоящие песни унесли с собой.

— Кто унёс?

— Кто унёс, того уж нет, — сказала Христина. — А те, кто остались, пересказывают. Пересказ и песня — это две разные вещи, как тёплый камень и камень с верхнего краю. Оба камни, а держат по-разному.

— Спой, — сказала Дарёна. — Хоть строчку.

— Нет.

— Одну.

— Нет, — сказала Христина, и губы у неё в тот же миг сложились сами: она тихо, на выдохе, повела первые два слова, и Дарёна не разобрала слов, но узнала лад — тот самый, от которого под ложечкой делается тепло и тоскливо разом. Христина оборвала себя, прижала ладонь ко рту и посмотрела на дверь.

— Вот так это и бывает, — сказала она, отняв ладонь. — Само выходит. И у тебя само выйдет. Только ты не в избе тогда петь будешь. Ты будешь петь там, где никто не слушает.

— Где это?

— Где угодно, где Дом не слышит. — Христина усмехнулась. — Только Дом нынче слышит везде. Так что и не пой.

Она поставила туесок на место и сунула Дарёне в руку вторую половину лепёшки и две луковицы, вынутые из-под лавки.

— Вот. В дорогу. Лук от жара, если застудишься. Обоз

завтра поутру уходит — пустые камни на перезарядку, отцово железо на продажу. Там и старшина твой, и лошади. До третьей ночи обернёшься, если голову на плечах носишь.

— Я и не спрашивала, ехать ли мне, — сказала Дарёна.

— Я тебе и не запрещаю. — Христина усмехнулась одними глазами. — Я тебе говорю, что там соль, а что вода. Решай сама.

Дарёна шла домой мимо общинного дома. У ворот уже стояли ящики для пустых камней — десять штук, высокие, сбитые наспех, и старшина обоза, сухой мужик со шрамом через бровь, ходил вдоль них и попинывал доски носком валенка, проверял, не отойдут ли по дороге. Он не смотрел на Дарёну, и она на него не смотрела.

Дома она вынула из кармана свой маленький камень, тёплый уже только с одной стороны, и положила его к отцовскому чугунку. Потом передумала и вернула в карман. В Тихограде дорога холодная, и бусина в том же кармане, и лук от жара.

Отец вернулся затемно, весь в земле: он нынче долбил могилу вместе со всеми. Дарёна поставила перед ним недоеденную лепёшку.

— Завтра обоз уходит, — сказала она. — Пустые камни на перезарядку. Ты с ним едешь.

— Еду.

— И я с тобой.

Он не спросил зачем. Посмотрел на её карман, где лежали

бусина и камень, и ничего не сказал, и по тому, как он молчал, Дарёна поняла, что он согласился.

За окном скрипнули ворота, и по двору Мельниковых прошли тяжёлые шаги — много шагов, больше, чем бывает у них гостей. Потом стукнули в раму: трижды, коротко, — так зовут всех.

Дарёна связала в узелок вторую половину лепёшки, сунула за пазуху лист с указом и пошла к соседям.

Глава 3. Тихая вода

Двор у Мельниковых был тесный: изба, сарай, поленница под навесом. К вечеру в нём стало не повернуться. Пришли все, кто жил на улице, — не потому, что звали, а потому, что не прийти было нельзя: кто не пришёл, того записывали.

Писарь сидел на крыльце с книгой на колене и отмечал приходящих — не именами, а палочками. Имя в такую ночь писать было опасно даже писарю.

Сани Дома стояли у ворот, и дозорный остался при лошадях: его видели только спиной, в сером сукне, между оглоблями, и он ни разу не обернулся. А в дом прошли трое — глушитель у двери и двое внутри, из них один, жрец, худой человек в сером, поставил на лавку ящик и стал вынимать из него глиняные чашки, одну за другой, и расставлять кверху дном. Чашек было много, и Дарёна не стала их считать: в такую ночь считают не гостьи, а те, кто приехал.

Рядом с чашками он положил широкую чашу с выщербленным краем. На дне чаши лежал маленький тёмный уголь, завёрнутый в тряпку, и жрец раздул его дыханием — уголь взялся красным, без дыма.

Пахло воском, мокрой овчиной и той сладковатой глиной, от которой всегда хотелось пить.

Улица перед двором была утоптана так, что снег визжал под валенками. Бабы принесли с собой по горсти крупы —

так в Крутом Логу заводилось исстари: если двор отдаёт имя, соседи сыплют, кто что может, чтобы на столе у двора было не пусто. Крупу ссыпали в общий чугунок у крыльца и накрыли тряпицей. Чугунок этот потом никто не варил: на поминки огня не давали.

В сенях на столе стояла солонка и половина ковриги, накрытая полотенцем. Хлеб был выставлен для порядка, и никто к нему не тянулся. В углу, на приступке, лежала береста — чистый кусок, обрезанный по краю ровно, как по линейке.

Мельников ходил по двору с фонарём, хотя фонарь был не нужен: люди стояли тесно и грелись друг о друга. Он здоровался со всеми за руку, и руки у него были не его — он их будто одолжил на вечер.

Дарёна нашла Степана в сенях. Он сидел на опрокинутом ушате, держался за колени, и лицо у него было сосредоточенное — так решают про себя длинный счёт.

— Дарёна, — сказал он шёпотом, хотя подслушивать было некому. — А больно будет?

— Не знаю.

— Мне дядька говорил, не больно. Только холодно потом.

— Ну вот.

Степан помолчал, поковырял бересту ногтем, оставив след.

— А если я имя забуду? Вот так, совсем? Как меня звать-то, забуду?

— Не забудешь, — сказала Дарёна. — Тебя другие забу-

дут.

— Я тогда кто буду?

— Кем назовут.

— А вы? — Он поднял на неё глаза, и в сенях было темно, так что она видела только их. — Вы меня как звать будете?

Дарёна не ответила сразу. За дверью жужжали голоса, кто-то переставлял скамью, глушитель у порога кашлянул.

— Степаном, — сказала она. — Я буду звать тебя Степаном.

Степан кивнул: она дала ему что-то в руки, и он это взял.

— Мать тоже не выпьет, — сказал он тихо. — Я слышал, как она ночью отцу говорила. Он её уговаривал, а она ответила, что не забудет, покуда вот такого его помнит.

Дверь открылась, и в сенях стало видно, кто стоит. В дверях стояла Мельникова. Сколько она слышала, было не понять. Она посмотрела на Дарёну долго и молча, потом так же молча ушла во двор.

Жрец поднял руку, и во дворе стихли.

— Нонеча двор Мельниковых отдаёт Огню имя, — сказал он ровно. — По воле Дома Тишины. Имя — с двора, Список — Дома. Кто хочет сказать слово, говорите до чаши. После чаши слов не будет.

Никто не сказал слова. Даже Мельников, что весь вечер искал, с кем бы перемолвиться. Он только поднял фонарь выше, будто искал в темноте что-то на крыше.

Степан вышел на середину двора и сам, ни от кого не до-

ждавшись, опустился на колени в утоптанный снег. Никто ему этого не велел; он просто решил, что надо так. Он стоял на коленях в одной рубахе, без шапки, и пар от него шёл, как от всех, — и от этого он был совсем как все, только маленький.

Писарь развернул бересту на колене, обмакнул перо в чернильницу, привешенную к поясу, и спросил негромко:

— Как писати?

— Степан, — сказал Степан.

Он сказал это сам, один раз, и голос у него не сорвался.

Писарь вывел на бересте буквы. Дарёна видела, как ходит перо: сперва одна палка, потом другая, потом крючок. Потом он подул на бересту и протянул её человеку в сером.

Написанное он прочёл вслух, негромко, тем же голосом, каким читают бумаги:

— Степан Мельников.

И положил бересту в чашу на уголь.

Береста взялась сразу, по краю. Огонь пошёл по ней неровно, съедая буквы вкось: сперва крючок, потом палку, потом последнюю. Пламя было маленькое, чаша держала его крепко. Пахло берёстой и дёгтем. Дарёна смотрела, как уходят буквы, и считала: пока имя не сгорело, человек ещё есть; вот оно догорает по краю; вот остался один угол, и на углу — первая палка, та, с которой всё началось.

Огонь погас. В чаше остался серый пепел с чёрными крапинами, и жрец подождал, пока он осядет.

Мельников опустил фонарь и держал его у колена, и свет от фонаря бил ему в сапоги.

Мельникова стояла у поленницы и держала в зубах кончик платка. Она не плакала. Она кусала платок, и на платке расползалось мокрое пятно.

— Вставай, — сказал жрец.

Степан встал. Он ни на кого не смотрел, только нашёл глазами мать и пошёл к ней, а глушитель у двери взял его за плечо и повернул к воротам. И тогда Степан спросил через двор, звонко, на весь двор, по-детски:

— Мам! Я скоро?

— Скоро, — сказала Мельникова.

Глушитель вывел его за ворота. Скрипнули оглобли, и ворота закрылись.

— Пьют все, кто старше четырнадцати, — объявил жрец. — Малых не тронем, малых Огонь не считает.

Из толпы выдвинулся парень годов тринадцати в отцовском тулупе, выдвинулся и встал, задрав голову.

— А меня? — спросил он. — Меня не возьмут?

— Тебе ещё год, — сказал глушитель и отодвинул его ладонью в грудь. — Иди.

— А в тот год возьмут?

— В тот год и приходи, — сказал глушитель, и парня утянули назад за рукав.

— Теперь вода.

Глушитель вынес из сеней ведро, обёрнутое овчиной. Пи-

сарь откинул овчину — и от ведра пошло тепло. Вода в нём была тёплая, и полный двор это почувствовал сразу: у кого было открыто лицо, тот подставил его невольно, как подставляют лицо под печное устье.

Чашки пошли по рукам. Дарёна взяла свою — глиняную, без скола, с круглым клеймом на дне, — и обожгла пальцы. Вода была живая, тёплая, тяжёлая.

Она ждала этой минуты с полудня. За пазухой у неё лежала шестая отцовская чашка, а в ней — вода из бочки, натопленная за печной заслонкой и выставленная потом на холод, чтобы никто не почуял тепла. На голове у неё был большой шерстяной платок, а в платок можно вылить много чего.

Дарёна шагнула к отцу. Он стоял у поленницы, держа свою чашку двумя руками, и смотрел в неё, как смотрят в прорубь.

— Отдай, — сказала Дарёна шёпотом.

Отец поднял глаза. Она уже доставала из-за пазухи платок. Он понял всё по её лицу, раньше, чем она показала чашку, и сделал то, чего она не ждала: молча протянул ей свою.

Обменялись они в одно движение. Люди стояли тесно, все смотрели в свои чашки, глушитель у двери глядел поверх голов. Отцовская тихая вода легла ей в ладонь тёплой, тяжёлой тяжестью, а он принял её чашку — холодную, с шершавым кольцом на дне, шестую из шести — и коротко, почти незаметно, кивнул.

Дарёна подняла к лицу свою чашку и накрыла её платком.

Она пила и не глотала. Вода держалась во рту тепло и сладко, отдавала глиной и ещё чем-то, похожим на топлёное молоко; язык от неё стыл, а нёбо делалось мягким и разваренным. Дарёна держала и считала: раз, два, три, четыре, пять. На седьмом счёте дышать стало нечем, и она поняла, что если подержит ещё немного — проглотит сама, не удержится.

Она вылила воду в платок.

Платок намок мгновенно, отяжелел, прилип к ладони. Дарёна, не давая себе времени на страх, промокнула им лицо.

— Пейте, — велел жрец.

Двор выпил. Это было слышно: сначала тихо, потом всё разом — глотки, вздохи, стук глины о глину. Кто-то засмеялся тонко и невпопад и сразу замолчал. Мельникова держала свою чашку дольше всех; голова у неё запрокинулась, как у всех, и чашка встала в ящик пустой. Потом Мельникова осталась стоять с пустыми руками, глядя на свои ладони так, будто впервые их видела.

Потом стало тихо, и в этой тишине каждый, кто выпил, сделал одно и то же, сам того не заметив: полез рукой в свою память, как лезут в карман проверять, на месте ли деньги. Один мужик сказал вслух имя жены и получил ответ. Другой начал было рассказывать соседу о Степане, добрался до середины и остановился, не понимая, с чего начал.

Дарёна поднесла ладонь ко рту: пахло горьким и мокрым. Она выдохнула в сгиб локтя и сосчитала до десяти, просто

так, без нужды.

Мельникова подняла глаза и посмотрела на неё через двор.

Дарёна не отвела взгляда. Мельникова тоже не отвела. Дарёна посмотрела на снег у её ног: там была проталина, чёрная, до самой земли, — и от неё шёл пар. Так они и стояли над пустыми чашками — одна в шестнадцать лет, другая в сорок, — и обе не выпившие, и обе это знали.

Мельникова медленно опустила глаза и стала смотреть в снег.

Писарь пошёл по двору с книгой и спрашивал у каждого двора одно и то же. Подходил он не к людям, а к дворам — и спрашивал обоих, мужа и жену, по очереди.

— Кого отдал двор?

— Никого, — сказал Мельников.

— Никого, — сказала Мельникова.

Писарь поставил две палочки и пошёл дальше. Третьим двором шла старуха с околицы — та, что в позапрошлую зиму отдала сына. Писарь спросил её, и она не ответила сразу: стояла, шевелила губами, и по лицу было видно, что она ищет слово и не находит.

— Ну? — сказал глушитель.

— Никого, — сказала старуха. — Никого… а кого?

— Никого, — повторил писарь и поставил палочку.

Писарь подошёл к Ольховым.

— Кого отдал двор?

Отец смотрел ему в лицо, и лицо у отца было как у всех.

— Никого, — сказал он.

Писарь перевёл глаза на Дарёну — не потому, что так надо было, а потому, что помнил её по столбу с указом.

— А ты?

— Никого, — сказала она.

Слово вышло легко. Легче, чем она думала, и от этой лёгкости во рту стало горько.

Писарь поставил палочку и пошёл дальше, а глушитель у двери собрал пустые чашки в ящик и пересчитал их, ударяя край о край. Дарёна слышала, как он считает. Счёт сходился.

Жрец свернул чашу в тряпку, сложил её в ящик; пепел от бересты пошёл по дну, тонкий и серый.

— Двор Мельниковых чист, — сказал он. — Нонеча зима не тронет ни овец ваших, ни детей.

Он сказал это так, как говорят о погоде.

У ворот в снегу остался след — маленькие валенки, носки внутрь, вмятины от каблуков; их уже успело запорошить.

Двор начал расходиться. Люди выходили молча, по двое, по трое, и на улице сразу стало слышно, как скрипит снег и как в дальнем конце звенит ведро. За воротами сани Дома уже разворачивались; в них, между ящиками, сидел кто-то маленький и не шевелился.

Мальчишка лет шести, что жил через два двора, спросил у матери громко, на всю улицу:

— Мам. А кто это уехал?

— Никто, сынок, — сказала мать, не сбившись. — Никто не уезжал.

Дарёна обошла сани стороной, чтобы не видеть, кто там сидит, и встала за углом сарая, где было темно. Темноту она не любила с детства и сейчас сама в неё зашла.

Платок в её руке был мокрый и тёплый. Она развернула его на ладонях.

Вода в платке не остыла. Она была той же тёплой, тяжёлой воды, что и в чашке, — только теперь она лежала в тряпке, на лютом морозе, и не думала стыть. Дарёна подышала на неё; пар пошёл не от её дыхания, а от воды.

Тогда она присела на корточки и приложила ладонь к снегу. Снег под ладонью подтаял, и в этой проталине, в чёрной земле, Дарёна услышала.

Гул. Низкий, ровный, глубокий — не в ушах, а в костях, в ладонях, в зубах. Он шёл откуда-то снизу, из-под вечной мерзлоты, и в нём не было ни злобы, ни жалости, ничего человеческого, — и всё же он был живой, этот гул, и не умолкал.

А в гуле кто-то тянул одно слово. Не пел — просил. Дарёна не разобрала слова, сколько ни напрягалась: оно было длинное, тянулось и обрывалось, и начиналось снова. От этого звука защипало в глазах, и она поймала себя на том, что уже открыла рот, будто собиралась ответить.

Гул ушёл. Снег в проталине был мокрый, и ладонь стыла.

Дарёна встала и завернула платок. Потом завернула ещё

раз, чтобы не пролилось, и сунула за пазуху, к бусине, где было тепло.

Бусина оказалась на месте — в тряпице, тёплая от её руки.

Отец ждал её у своих ворот, и в руке у него была шестая чашка. Он ничего не спросил. Взял её за руку, повернул ладонь к свету, посмотрел на мокрую тряпку и отпустил.

Вода в платке оставалась тёплой всю ночь и не остыла к утру.

Глава 4. Обоз

Обоз собирали затемно. Дарёна вышла во двор, когда над Спящими стояла ещё серая муть, и услышала солому: она тёрлась о дощатый бок ящика сухо и часто, и от этого звука ломило в висках.

Десять ящиков стояли у ворот. В каждом по шесть камней, переложенных ржаной соломой и завёрнутых в старую овчину. Камни шли в Тихоград пустыми, выстуженными, — на перезарядку к Очагу. Дарёна пересчитала их дважды. В первый раз вышло пятьдесят девять, и она начала снова, вслух, шевеля губами, чтобы не сбиться на третьем ящике.

— Считаешь? — Старшина обоза, сухой мужик со шрамом через бровь, встал рядом и тоже посмотрел на ящики. — Нонеча без счёта нельзя. На заставе Тихая стража опись сверяет. Не сойдётся — сани в снег, а дальше пешком.

— Десять ящиков, шестьдесят камней, — сказала Дарёна.

— Вот и говори числами, а не «много». — Он отогнул угол овчины, понюхал. — Солома сырая. Кто мочил?

— Никто не мочил. С навеса натекло.

— Значит, надоть было под навесом сушить, а не под застрехой.

Отец подошёл, молча отобрал у старшины овчину и переложил ровнее. Старшина посмотрел на его руки в окалине, потом на Дарёну, и больше ничего не сказал.

Из сеней Дарёна вынесла свёрток: хлеб, две луковицы, шерстяные чулки, отцовский нож в потемневших ножнах, жестяную кружку. В кармане лежал маленький тёплый камень — третий день, самый конец срока, — и она сжала его в кулаке, отогрела пальцы, положила обратно. В другом кармане, завёрнутая в тряпочку, лежала рябиновая бусина. Доставать её было незачем. Дарёна и так знала, что она на месте.

— Дарёна. — Отец стоял у саней и не смотрел на неё. — На передок. Гляди за соломой, чтоб не задуло.

Она кивнула и полезла на сани. Кожух под ней был холодный, как доска. Внизу, у околицы, в двух платках и с клюкой, стояла Христина. Не махала. Дарёна не обернулась второй раз.

Выехали, когда стало сереть. Тракт поднимался в отрог, между двух каменных лбов, и дальше шёл полого, вдоль русла, где летом вода, а зимой наледь в три пальца. Дарёна шла пешком у передних саней, потому что на санях застываешь, а пешком — нет; считала шаги до поворота, сбилась на четырёхсотом и начала заново.

К полудню пошёл снег. Сперва редкий, потом частый, потом сплошной, и стало видно только круп лошади впереди. Ветер дул навстречу, из-под Спящих, и нёс мелкую жёсткую крупу, которая секла щёки и забивалась за воротник. Лошади дышали паром, пар оседал на шерсти инеем, и к вечеру они побелели, будто их обсыпали мукой.

— Держись за грядку, — сказал ей Малой-возчик. — Тут яма, сани кидает.

— Знаю.

— Знаешь она. — Он сплюнул. — Все знают, пока в яму не съедут.

Шли долго молча. Потом Малой, которому молчать было тяжелее, чем идти, спросил:

— В городе бывала?

— Нет.

— Ага. — Он обрадовался. — Тамошнего не знаешь, значит. Слушай сюда, девка, задаром скажу. В воротах писари стоят, они всякое имя в книгу пишут. Скажешь — запишут. Промолчишь — тоже запишут, только с пометкой.

— Какой пометкой?

— «Упорна». — Малой засмеялся и сразу перестал. — А ещё в Тихограде не свисти. И не пой. И не беги.

— Чего не бежать?

— Затем, что бежит кто? Вор бежит. Или стеклянный бежит, чтоб его не поймали. А ты кто? Ты девка при соломе, тебе бежать некуда. Иди шагом, гляди вперёд.

— И всё?

— И за пазуху держись, — сказал Малой, подумал и добавил: — И камни на торгу не покупай, обманут. Камни — либо из Дома Тишины, либо с обоза, третьего не бывает.

Дорога шла в гору ещё две версты, а потом вышла из-под ельника, и там, у столба с зарубками, на обочине кто-то сто-

ял.

Дарёна увидела его первой, потому что смотрела вперёд, а не под ноги. Человек был в длинном кожухе, подпоясанном верёвкой, в шапке, в рукавицах, — и сквозь него был виден сугроб, а за сугробом три ели. Не мутно, как сквозь лёд по весне, а ясно, только бледнее и тише, чем всё остальное. Внутри, под левой ключицей, стояло тёмное пятнышко и медленно двигалось.

Стеклянный.

Дарёна видела такого один раз, года три назад: его гнали через Крутой Лог, и он шёл посередине улицы, а люди закрывали ставни. Тогда она думала, что больше такого не увидит.

— Не гляди, — сказал старшина, не поворачивая головы. — Трогай, Малой. Трогай, не стой.

Лошади пошли сами, быстрее, чем их гнали. Обоз обходил его по дальней стороне дороги, и возчики смотрели в снег, в гривы, в собственные рукавицы — куда угодно, только не на обочину.

Стеклянный повернул голову. Шагнуть он уже не мог: колени не гнулись. Он поднял руку и раскрыл ладонь, и было видно каждую косточку, каждую жилку, налитую прозрачным холодом.

Воздух выходил из него со свистом, ровным и тонким, как тяга в остывшей трубе.

Дарёна остановилась.

— Дарёна! — рявкнул старшина с передних саней.

Она слышала его и не двинулась. Сделала три шага в снег, по колено, и остановилась в двух саженях от протянутой ладони: ближе было нельзя, потому что дальше начинало тянуть. Тепло из неё потекло к нему — сначала из лица, потом из груди, и она почувствовала, как холодеют щёки изнутри.

Стеклянный не просил. Он шевелил губами, и звука не было. Тёмное пятнышко под ключицей толкнулось чаще.

Дарёна вытащила из кармана свой камень, маленький, обкатанный, тёплый ещё на ладонь, и положила его в прозрачную руку. Пальцы сомкнулись медленно. Камень в этой руке не светил и не грел: он гас с краю, потом до половины, потом весь, и по рукавице Дарёны прошёл такой холод, что кисть свело.

Отец подошёл сзади, взял её за плечо и потянул. Не сильно. Она бы и сама пошла.

— Пойдём, — сказал он.

Она обернулась один раз. Стеклянный стоял и держал камень у груди, там, где двигалось тёмное. Снег ложился на его плечи и не таял.

Старшина догнал её, когда обоз уже вытягивался на дорогу, и пошёл рядом, не глядя.

— Дура, — сказал он без злобы. — Камень-то твой последний был.

— Был.

— Вот и ходи теперь без каменя. — Он помолчал с полверсты и добавил тише: — А впрочем, я бы не дал. У меня

мать в такой же стоит, третий год, у нижней стены. Я мимо езжу и в лицо её не узнаю.

Дарёна ничего не ответила. Правая кисть не слушалась до вечера: она сунула её под кожух, к боку, и держала так, пока не отпустило.

Застава стояла на выходе из отрога: плетень поперёк дороги, рогатки, будка с промазанными глиной щелями, при ней две подводы и человек восемь стражи. Ни одного костра не горело — дым в долине запрещён пуще воровства, и Дарёна знала это с тех пор, как научилась ходить. Стражники грелись камнями: держали их в рукавицах, за пазухой, под ремнём.

Десятник вышел из будки сам, не дожидаясь стука. Седой, стриженный коротко, в сером тулупе, на рукав нашита тёмная полоса.

— Грамоту, — сказал он, не здороваясь.

Старшина подал ему сложенную вчетверо бумагу. Десятник развернул её, повёл пальцем по строкам и читал долго, шевеля губами, — Дарёна впервые видела, чтобы грамотный человек читал так.

— Крутой Лог. Тридцать шесть дворов. — Он дочитал, сложил бумагу и поднял глаза. — Оброк с трёх семей, а камней шестьдесят. По скольку на двор?

— По полтора, — сказал старшина. — И двадцать два пустых сдали обратно. Остальные догорают.

— Долго догорают.

— Как велено, так и догорают.

Десятник не ответил. Он подошёл к саням, отогнул овчину в шестом ящике, пересчитал камни — губами, как читал, — и один, с трещиной по краю, повертел в руках.

— Этот в опись не пойдёт. — Он вынул из-за пазухи книжицу, обмакнул палец в чернильницу, привешенную к поясу, и что-то записал. — Кто в обозе?

— Пятеро. Я, двое возчиков, кузнец, девка при соломе.

— Девка чья?

— Кузнецова. Ольховы.

Десятник поднял голову. Посмотрел на Дарёну долго, как смотрят на бирку, когда сомневаются в числе, потом глянул из-под капюшона — цепко, по-хозяйски.

— Ольхова? Лист со столба. — И отвернулся к грамоте прежде, чем она успела решить, знает ли она это лицо.

— Дарёна, — сказала она в спину.

— Я не спрашивал, как тебя звать.

— А я ответила, — сказала Дарёна.

Старшина за её спиной шумно выдохнул. Десятник же не рассердился. Он смотрел на неё ещё немного, потом спросил:

— Ты к стеклянному подходила.

— Подходила.

— Зачем?

— Он руку протянул.

— Все они руку протягивают. — Десятник сунул книжи-

цу за пазуху, потом полез туда же, в маленький кожаный мешочек на шнурке, — за грифелем. Развязал, вытряхнул в ладонь не глядя: грифель и бусину. Рябиновая, тёмная от старости, с косым срезом и неровностью на одном боку. Такие режут из рябины и дают дочерям испокон веку, их носят на шее сотни девок по всей долине. Но не с косым срезом и не с этой неровностью. Такая же, как у Дарёны. Не похожая — такая же.

Она шагнула вперёд, и сани скрипнули.

— Откуда у тебя это?

Десятник вернул бусину в мешочек, и лицо у него стало закрытое, как у отца.

— Считай ящики, девка. И не путайся в чужих шнурках.

— Это материна бусина. Такие не продают.

— Не продают, — согласился он. — Поезжайте. — Он отступил с дороги и махнул рукой своим. — И вот что. К стеклянным не подходи. Оно заразно не болезнью. Оно заразно зрелищем: посмотришь раз — потом всю жизнь будешь в окна заглядывать, искать своё.

— Своё?

— Своё, — сказал десятник и посмотрел не на неё, а на отца, который стоял у саней и молчал, как молчал последние шесть лет. — Поезжайте. К вечеру закроют тракт.

Рогатки оттащили. С обоза взяли пошлину — полушку с саней, всего два с половиной медяка, — и старшина отсчитывал их по одной и после каждой сплёвывал. Потом на гра-

моту капнули тёплым воском и приложили печать: круг, а в круге ничего. Пустая печать. Дарёна смотрела, как стынет воск, и думала, что такой печатью с равным успехом можно запечатать что угодно.

Обоз тронулся, и Дарёна ещё долго оглядывалась на будку, но десятник уже ушёл внутрь, только дверь хлопнула.

Метель ударила перед самыми воротами, за две версты, будто ждала, пока они выйдут из-под скалы. Ветер развернул снег стеной, дорогу стёрло в трёх шагах, и лошади встали.

Старшина решил переждать в логу. На санях везли полог — шесть овчин, сшитых в одно, — и его натянули между двумя санями, придавив края ящиками. Полог продержался до полуночи. Потом ветер взял его снизу, рванул, вывернул и унёс в темноту вместе с верёвками.

— Всем под сани! — крикнул старшина. — Под сани, дурьи головы! Овчины снимай, груз не тронь!

Дарёна заползла под передние сани лицом к лицу с девчонкой с обоза — той, что считала мешки и всю дорогу молчала. Овчины хватило на двоих, если лежать вплотную. Дарёна накрыла их сверху ещё и своим войлочным плащом, и они прижались друг к другу, как две ложки в одной чашке.

— Зубы стучат, — сказала девчонка.

— Стучат, — согласилась Дарёна. — Значит, живые.

— У меня камень в рукавице. Тёплый ещё.

— Держи между нами.

— А ты?

— Мне хватит.

Девчонка помолчала, потом подсунула камень ей под бок — молча, ничего не сказав, и это вышло у неё ловко, воровски.

За пазухой, между рубахой и кожухом, лежал завязанный вчетверо платок с тихой водой. Дарёна нащупала его и проверила: сквозь тряпицу шло ровное, неостывающее тепло. Вода не остыла ни за эти два дня, ни за эту ночь.

— Ты в город зачем? — спросила она погодя.

— За одним человеком.

— Найдёшь?

— Найду, — сказала Дарёна.

— А он тебя ждёт?

Дарёна посмотрела вверх, в доски саней, в щель, где вился снег.

— Он меня не помнит.

Девчонка подумала, повозила рукавицей по утоптанному снегу.

— Тогда зачем?

— Потому что я помню.

Ветер выл ровно, без перерывов, и под этот вой Дарёна впервые за двое суток согрелась. Ей было тепло от девчонкиного бока, от камня, от того, что она всё-таки сказала вслух — и ничего не случилось, небо не упало, гора не пошевелилась. Она подышала в сложенные руки, отогрела нос и стала считать вдохи девчонки, чтобы не сорваться в сон. На сем-

надцатом сбилась и начала заново.

Ближе к утру под санями стало тише. Ветер ещё шёл, но уже не бил, а тянул, и в этом ровном гуле Дарёна услышала, как скрипит снег: кто-то ходил вокруг саней шагами, тяжёлыми и ровными. Она посчитала — двенадцать шагов, потом тихо, потом опять.

— Спи, — сказала девчонка ей в затылок. — Это старшина. Он всю ночь так.

— Зачем?

— Лошадей считает. — Девчонка зевнула и уткнулась носом в овчину. — Пять лошадей, шестьдесят камней, пять человек. Ему так легче.

К утру метель легла. Старшина разбудил их, стуча по голенищам:

— Встаём! Встаём, пока дорогу не замело совсем. К полудню будем в воротах.

Дарёна вылезла из-под саней и не сразу разогнулась. Снегу намело по грудь. Лошади стояли по самое брюхо и не ржали, а только переступали и мотали головами, и от них шёл густой пар.

Она пошла вперёд, за лошадьми, и на ходу сунула руку в карман — за камнем, которого там уже не было. Пальцы нашли тряпочку с бусиной. Дарёна сжала её и не разжимала до самых ворот.

Глава 5. Каменный город

Ворота стояли открытыми, и всё равно перед ними толкалась очередь: возы, сани, люди с мешками, две бабы с курами в плетёнках. Над створками, окованными полосами железа, был вырезан в камне круг, а в круге — ничего. Дарёна долго смотрела на этот круг, пока стояла.

Город она почувствовала раньше, чем увидела. Сначала запах: горячий камень, мокрая шерсть, кислая капуста, дёготь и рыба. Потом тепло — оно шло снизу, из-под самой дороги, и стояло в воздухе густо, как в бане, и от этого тепла снег на обочинах был не белый, а серый и ноздреватый. И только потом она услышала гул.

Он был везде. Ровный, низкий, в подошвах, в зубах, в донышке жестяной кружки, которая висела у неё на поясе. Дарёна сняла рукавицу и потрогала камень в стене — камень был тёплый.

— Не стой, — сказал отец. — Тут не стоят.

Ворота были похожи на ущелье: два каменных выступа, а между ними — узкий проход, в который возы входили по одному. По бокам стояли стражники в серых тулупах, у каждого на рукаве тёмная полоса, и один держал в руке палку с кожаной петлёй. У прохода за столом сидел писарь с книгой толщиной в две ладони и брал пошлину, не поднимая головы.

Отца он записал молча, а на Дарёне остановился, провёл пальцем по строкам выше, ещё раз, другим пальцем, и поднял глаза.

— Ольхова Дарёна, Крутой Лог, при соломе, — прочёл он вслух. — Уже вписана.

— Кем?

— Дозорным. Ночью, на заставе.

— Ночью он меня не видел.

— Видел, — сказал писарь и закрыл книгу ладонью, будто отекал муху. — Проходите. Не задерживайте.

Отец взял лошадь под уздцы и повёл. Дарёна шла рядом с санями, и всю дорогу через ворота у неё между лопаток было одно место, которое знало, что за ней смотрят.

За воротами город ударил по глазам. Улица шла в гору и была такая тесная, что два воза не разъехались бы. Дома стояли в три яруса: над первым нависал второй, над вторым третий, и неба над головой было ровно столько, сколько оставалось. С балок свешивались пучки сушёной рыбы, связки лука, вязаные чулки, клетка с сонной птицей. Между домами, поперёк улицы, были перекинуты мостки, и по ним ходили люди — просто так, не по делу.

Из решёток в мостовой поднимался пар. В пару, у самых решёток, сидели нищие: четверо, потом ещё двое, потом женщина с подвязанной рукой. У одного на коленях лежал тёплый камень, и он прикрывал его полой, чтобы не отобрали.

Мальчишка лет семи запел — тонко, на одной ноте, разбирая слова. Мать, не глядя, накрыла ему рот ладонью и прижала к себе так, что он стукнулся лбом о её ключицу. Стражник с палкой обернулся на звук, постоял, пошёл дальше.

— Держись за мной, — сказал отец. — И не спорь тут ни с кем. Тут спор дороже.

Подворье у Очага было за поворотом: широкий двор, где с саней снимали ящики и ставили под навес на козлы, чтобы камни дышали. Приёмщик, толстый, в кожаном фартуке, тыкал в каждый ящик железным прутом и что-то отмечал мелом на доске. Дарёна помогла снести четыре ящика, и от натуги у неё заныли руки.

— Теперь на торг, — сказал отец. — Со мной. Гвозди снеси.

Гвоздяной ряд был в двух улицах ниже. Там пахло железом и кожей, и на прилавках лежали подковы, лемеха, кольца для колодцев, косы. Отцовский товар — три связки гвоздей и восемь подков — занял место на досках, разложенных на двух козлах.

Дарёна села на пустой ящик рядом. Свет из проулка падал на гвозди, и гвозди блестели — хорошая работа, ровная, шляпки как на подбор.

Первый покупатель пришёл скоро: мужик в кожаном фартуке, с лицом, стёртым до скуки.

— По чём сотки?

— Три медяка десяток, — сказал отец.

— Три? В прошлую зиму было два.

— В прошлую зиму и железо было дешевле.

— Два и полушку.

— Три.

Мужик постоял, подумал, посмотрел на гвозди, на Дарёну.

— Две и полушку, — сказал он ещё раз, без надежды, и, когда отец промолчал, отсчитал три медяка и забрал десяток.

Дальше пошло быстрее. Пока отец торговал, Дарёна смотрела на улицу и считала, сколько людей пройдёт мимо за сто ударов сердца. Вышло сорок два.

Она сунула руку в карман — просто так, за бусиной, как суют руку к стене, чтобы знать, что стена на месте.

Карман был пуст. И не просто пуст: под пальцами разошлась ровная мокрая щель, и в щели — холодный воздух.

Дарёна встала так резко, что ящик качнулся.

— Ты чего? — спросил отец.

Она не ответила. Она уже смотрела вдоль ряда: люди, спины, корзины, чья-то шапка, чья-то рука. Между рядами, у кожевенной лавки, мелькнула спина в коротком тулупе — и пропала.

Дарёна пошла за ней, локтями, через толпу, не разбирая дороги. Сзади крикнул отец, и она не остановилась.

Спина вынырнула у рыбного ряда: парень, лет семнадцати, в тулупе не по росту, шапка сдвинута. Он шёл не быстро — так, как ходят те, кого не догоняют. И оглянулся, ровно

один раз.

Дарёна побежала.

— Стой! — заорал сверху стражник с мостков. — Не беги! Слышишь, не беги!

Она бежала. Парень рванул в проулок, она за ним, между двумя стенами, где не разойтись, по мокрым камням, мимо бабы с водой, мимо мальчишки, который прижался к стене. В конце проулка была лестница на второй ярус — деревянная, узкая. Парень взлетел по ней, и Дарёна полезла за ним, не глядя под ноги.

Наверху был мосток, а над мостком — низкая крыша, крытая дёрном и снегом. Парень прыгнул на неё. Дарёна прыгнула следом; дёрн провалился под ней, она упала на колени, ободрала ладонь и пошла дальше по скату, хватаясь за доски.

Он остановился сам. Присел на пятку у трубы, обернулся и поднял руку — в кулаке, тёмная от старости, лежала бусина.

— Тихо, тихо, — сказал он, дыша через слово. — Не тронь. Отдам.

— Отдай.

— Отдам! — Он поднял вторую руку. — Я и не держу. Только ты, это, не бей. Девки дерутся больно, у них ногти.

— Отдай. Я не шучу.

— Верю. — Он подбросил бусину на ладони и поймал. — Сразу видно, что здешняя? Нет, не видно. Ты не здешняя.

По говору.

— Отдай, — сказала Дарёна в третий раз и шагнула.

Он положил бусину ей в ладонь — просто, без спора. И свою руку убрал.

С ладони капало на дёрн: она ободрала её о дранку. Тихон смотрел на кровь и морщился, будто ему было больно.

— Рядом стояла, — сказал он. — Я подумал: медяк в кармане? А там на медяк и нет ничего, там бусина. Я думал, продажная. Девки продают.

Дарёна сжала бусину в кулаке. Тёплая, тяжёлая, с косым срезом. Она провела по срезу большим пальцем, и её затрясло — не от страха, а от того, как близко всё было.

— Ты кто? — спросила она.

— Тихон. — Он снял шапку, будто знакомился на свадьбе. — Имя дедово. Настоящее, не вымышленное, выменянное в архиве. — Он надел шапку обратно. — А ты тут бегала. Это зря. Тут за бег берут.

— Много?

— Кого как. — Тихон пожал плечами. — В прошлом месяце одного взяли, он не отдал имя, ему... — Он посмотрел на неё и не стал досказывать. — Ты вот что. Ты кому бегала, мне? Я тебе два ряда прошёл, мог бы совсем уйти. Ушёл бы — ищи потом.

— Не ушёл.

— Не ушёл, — согласился он и вдруг заинтересовался: — За бусинку так бегают? За деревяшку?

— За деревяшку.

Тихон поцокал языком и сел на пятку плотнее: устраивался надолго.

— Ладно. Я тебе бусину отдал, ты за мной бегала, мы квиты, только стражу ты насмешила. — Он оглянулся вниз, на мосток, и понизил голос: — Ты куда приехала? Зачем?

— За братом.

— Хорошо. — Он не удивился, и это было неприятнее всего. — У нас тут половина города за братьями ездит. Только не находят.

— А ты знаешь, где искать?

Тихон выпрямился. Слово «знаю» он проглотил целиком, как горячую картофелину, но глаза у него загорелись.

— Я много чего знаю. — Он подался ближе. — За медяк покажу, где живёт ваш Девятый. Хочешь — сейчас, хочешь — к вечеру. Тихая стража за такое берёт серебром и то не берёт.

— У меня нет медяка.

— Тогда чего спрашиваешь? — Он поцокал языком. — Ладно. Ты вот что скажи. Он у тебя безымянный или как?

— Безымянный.

— Ага. — Тихон закивал. — Он в Дне, значит. Больше безымянным тут негде.

— Веди.

— Даром?

— У меня денег нет.

— А что есть? — Он оглядел её снизу вверх, быстро, поворовски, и остановился на её поясе. — Вот эта кружка жестянная. И ножик у тебя... — Он посмотрел в глаза. — Нож отцовский, не отдам. Я не дурак.

Дарёна вытащила из-за пазухи три гвоздя-сотки — она сама положила их утром, чтобы отдать за ночлег, если обоз не дождётся.

Тихон посмотрел на гвозди так, как смотрят на деньги.

— Это отцовского дела гвозди, — сказала Дарёна. — Медяк штука. Пойдёт за проход?

— Пойдёт. — Он схватил их, спрятал за пазуху и сразу стал деловым. — Только уговор: я тебя до ворот довожу, дальше ты сама. В Дно я не хожу, у меня мать. Меня там знают.

— Ловко.

— Не ловко, а умно, — обиделся Тихон. — Ты вот что. Ты тут не зови никого по имени. Совсем никого. И сама не называйся. Тут у половины дома безымянные родственники, а у Дома Тишины везде уши, у них даже в трубах...

Он не договорил: внизу, на мостке, застучали шаги — ровные, тяжёлые, парные.

Тихон сдёрнул её за рукав вниз, за трубу, в щель между крышей и ограждением сеновала, и прижал ладонью к доскам.

Шаги прошли мимо. Два человека в серых тулупах, оба молодые, оба с палками. Один сказал другому:

— К вечеру ещё раз по рядам. Кто бегал, тех запоминай.

Шаги стихли.

— Глушители, — прошептал Тихон у её уха, и в шёпоте не было ничего шутливого. — Не Тихая стража. Хуже.

Отец хватится её к вечеру — на подворье, у саней. Придумать, что ему сказать, Дарёна не смогла и решила думать об этом тогда, когда будет что сказать.

Вылезли они с крыши вниз по лестнице на задах сапожной мастерской, и Тихон повёл её не по улице, а дворами: между сараями, под навесом, через щель в заборе, где еле пролезла. Пахло свиньями, мокрой известью, дымом — но дыма не было, только запах, оставшийся от кого-то, кто уже заплатил за него штраф.

— Тут одна баба, — говорил Тихон на ходу, — камешки жгла под лавкой, чтоб дитю теплей. Сосед донёс. Штраф — двадцать медяков или три дня на стене. Она выбрала стену. Теперь сосед у ней каждое утро воду задаром берёт.

— И пускают? — спросила Дарёна.

— А кто запретит? — Тихон махнул рукой. — Тут всё так. У нас тишина, зато всё по-людски.

Спуск к Дну начинался в конце переулка, за мусорной кучей у стены, и его не было видно, пока не подойдёшь вплотную: в камне вырублены ступени, а над дверью в стене — решётка из прутьев в руку толщиной.

— Это вход служилый, для своих, — сказал Тихон, кивнув на решётку. — Обозные возят через грузовые ворота у

соляного ряда, только их там до досок перетряхивают. А кто сам, тайком, — те знают водосток с Гончарной: поднимешь решётку, и ты внизу. Только я тебе этого не говорил.

За решёткой был двор. Двор был большой, двор был глубокий, и он был ниже города настолько, что небо над ним казалось чужим. Свод нависал каменный, из свода торчали трубы, и из крайней трубы шёл ровный горячий воздух — от него над двором стояло марево.

Во дворе работали люди. Один таскал корзины с чем-то серым и тяжёлым и ставил их в ряд. Двое катили тачку. Ещё трое, в ряд, у стены, перебирали что-то в плоских ящиках, и руки у них ходили быстро и ровно.

Они молчали. Весь двор, человек двадцать, работал молча.

— Шестой! — крикнул от решётки стражник. — Корзины не там. Отнеси в третий.

Один из тех, кто катил тачку, отпустил её и пошёл за корзинами. У него было обыкновенное лицо, такое же, как у отца, и серая рубаха до колен, и на левом рукаве белой краской стояла цифра.

Дарёна смотрела, как он несёт корзины. Он поставил их у стены, вернулся, взял тачку. Ни разу не поднял головы.

— Сколько их тут? — спросила она.

— В Дне-то? — Тихон поёжился. — Кто ж считает. Их не считают, их... — Он поискал слово и не нашёл. — Их по номерам.

— А девятый?

— Девятых много. — Тихон сплюнул в снег. — Девять — это не имя. Это место в списке, когда список переписывают. Умер один — другой стал девятым. — Он помолчал. — Может, твой и не девятый уже.

Гул под ногами стал сильнее. Дарёна положила ладонь на прут решётки — прут был тёплый, почти горячий.

Она стояла и смотрела, как в глубине двора один из безымянных остановился, поднял голову и посмотрел не на неё, а в свод, туда, где из трубы шёл горячий воздух. Постоял так, с открытым ртом, будто прислушивался. Потом опустил голову и пошёл дальше.

— Отойди, — сказал стражник за её спиной. — Нечего смотреть.

Дарёна отошла на шаг и осталась стоять.

Ночевала она в обозной караулке при подворье, на общей лавке, под отцовым кафтаном; отец пришёл затемно, сел рядом, потрогал её по плечу и ничего не спросил. Наутро, пока он спал, Дарёна вышла одни ворота раньше — и к полудню стояла внизу лестницы, которая вела к Дому Тишины: триста ступеней, как говорили, и все вверх.

Глава 6. Дом Тишины

Дом Тишины стоял на скале, и к нему вели триста ступеней. Дарёна сбилась на двухсотой и считать перестала: ступени были вытертые посередине, узкие, с наледью по краям, и на каждой третьей лежал снег, наметённый ветром.

У подножия лестницы торговали: с лотков продавали свечи по медяку, тёплые лепёшки по два и какие-то бумажные ленты с печатью, которых никто не брал. Нищие сидели выше, чем в городе, — ближе к теплу, которое шло от стены Дома.

На середине подъёма стоял стражник с палкой и смотрел вниз, на лестницу, как смотрят на реку.

— Оружие сдавай, — сказал он, когда она поравнялась.

Дарёна вытащила отцовский нож. Стражник взял его, повертел, вынул из ножен, посмотрел на клеймо, потом достал из мешка железный жетон с пробитой цифрой и сунул ей в руку.

— Семьдесят три. Придёшь — спросишь семьдесят три. Не спросишь — нож останется.

Жетон был холодный и лёгкий. Дарёна положила его в карман, туда, где раньше лежал камень, и рука сама сжалась в кулак.

Ворота Дома были не выше городских, но выше были стены, и над воротами, вместо круга, висела доска с вырезан-

ным словом. Дарёна читала по складам и прочла: тишина. Буквы были старые, с зализанными краями.

В приёмной пахло воском, чернилами, мокрым сукном и остывшим камнем. Дыма не было — нигде в городе не было дыма, но здесь его отсутствие слышалось отдельно, как слышится пустое место в песне.

Пол был тёплый. Теплее, чем в городе.

Вдоль стен стояли лавки, на лавках сидели люди. Мать с мальчиком лет десяти, оба в одинаковых серых платках. Старик с палкой, у которого одна рука не сгибалась. Женщина в чёрном, с сухими глазами, державшая на коленях узелок. И ещё человек восемь, кто стоял, кто сидел на полу.

У двери, ведущей внутрь, сидел писарь за столом и вёл очередь по книге. Голос у него был ровный, как у человека, который читает одно и то же третий год подряд.

— Второй раз по оброку, — сказал писарь.

Женщина в чёрном встала и ушла в дверь. Дарёна проводила её глазами.

— Ты по какому делу? — спросил писарь, не поднимая головы, когда очередь дошла.

— По родному.

— Родной кто?

— Брат.

Писарь поднял голову, посмотрел на неё и перевернул страницу назад.

— Брат отдан?

— Шесть лет.

— Ольхова? — Он провёл пальцем. — Ольхова Дарёна. — Он не удивился и не переспросил. — Сядь. Позовут.

Она села на край лавки, между стариком с палкой и мальчиком в сером платке. Мальчик посмотрел на неё и спросил шёпотом:

— А тебя тоже?

— Что тоже?

— Ну, — он показал рукой неопределённо, — заберут?

— Не заберут.

Мать дёрнула его за рукав, и он замолчал. Дарёна достала из-за пазухи свой хлеб и отломила ему половину, хотя он не просил. Мать посмотрела на хлеб, на неё, и ничего не сказала.

Ждали долго. Старик рядом с ней спал сидя, и палка стояла у него между колен, как третья нога.

У окна мел пол человек в серой рубахе до колен, с белой цифрой на левом рукаве. Он мёл один и тот же угол, и камень там был вытерт до блеска. Дарёна долго смотрела, как ходит его метла, и поняла: никто его не заставляет. Он делал это сам.

Подошёл писарь:

— Двадцать первый. Тебя на кухню ждут.

Человек кивнул и ушёл, оставив метлу у стены. Никто на него не обернулся. Все смотрели на дверь.

Женщина, которая ушла в дверь первой, вернулась через

сотню ударов сердца — шла ровно, лицо было спокойное, и узелок она несла уже пустой.

Потом позвали мать с мальчиком. Она встала, поправила на нём платок, и они ушли вдвоём. Вернулись скоро: мальчик шёл впереди, а мать за ним, и лицо у неё было такое, будто она несла что-то тяжёлое и не могла поставить на пол.

— Что там? — спросила Дарёна, когда она села.

— Сказали, через год приходить, — ответила мать. — Как оброк соберут.

— А если не соберут?

Мать посмотрела на неё и ничего не ответила. Мальчик сгрыз корку до конца и стал смотреть в окно, на горбы.

Позвали ещё двоих. Потом писарь сказал:

— Ольхова. К настоятельнице.

Приёмная притихла. Старик открыл глаза. Мать с мальчиком посмотрела на Дарёну так, как смотрят на человека, которому сейчас скажут что-то важное и плохое.

Дарёна встала и пошла в дверь.

Коридор был узкий и тёплый, и в нём стояли глушители — двое, в серых тулупах без полосы на рукаве, но с палками, обтянутыми кожей. Один из них махнул рукой: налево.

Навстречу шла девушка в сером, лет двадцати, с двумя глиняными кувшинами. Она посторонилась, пропуская, потом посмотрела на Дарёну и спросила тихо:

— Ты к настоятельнице?

— К ней.

— Она добрая.

— Добрая?

— Она даёт есть и не спрашивает имени. — Девушка перехватила кувшины поудобнее. — Я тут пятый год. Ты откуда?

— Из Крутого Лога.

— Не слышала такого. — Девушка пошла дальше и на повороте обернулась: — И не говори ей про песни. Совсем не говори.

Она ушла, не дожидаясь вопроса, и вопрос остался у Дарёны во рту, как горячая картофелина.

Кабинет был большой и весь в книгах. Книги лежали на полках от пола до потолка, стояли стопками на полу, лежали на подоконнике. Окно было одно, высокое, и в нём стояли семь белых горбов — Спящие, и снег на них, и небо над ними, синее до черноты.

За столом сидела старуха. Седые волосы убраны под тёмный платок, лицо сухое, как бумага, руки лежали на столе и не двигались. На столе перед ней лежала раскрытая книга, а рядом — чашка, из которой не шёл пар.

— Сядь, дитя, — сказала она.

Дарёна не села.

— Как тебя зовут? — спросила старуха.

— Вы знаете, как меня зовут.

— Знаю, — согласилась та. — Но надлежит, чтобы ты назвалась сама. В этом Доме всё начинается с того, что человек

называет себя.

— Дарёна.

— Дарёна Ольхова. Из Крутого Лога. — Старуха чуть склонила голову. — Я Аглая. Садись, дитя. У меня к тебе много времени, а у тебя ко мне — мало.

Дарёна села на край стула.

— Я пришла за братом, — сказала она. — За Ратмиром.

Аглая не пошевелилась.

— Отданного нет, — сказала она. — Есть Огонь.

— Мне говорили, что так говорят.

— Тебе говорили правду. — Аглая развела пальцами страницу книги. — Шесть лет назад в этой книге появилось имя. Потом его вычеркнули — не потому, что рассердились, а потому, что так надлежит: Огню отдают имя, а не человека. Человек остаётся. Имени у него больше нет.

— А он сам?

— Он ходит, ест, работает. Он жив, дитя. — Она посмотрела в окно, на горбы. — Более жив, чем ты думаешь.

— Тогда я хочу его увидеть. Один раз. Позовите его сюда, и я уйду.

— Не могу.

— Почему?

— Потому что безымянный, выведенный из Нижнего города, начинает называть себя. — Аглая произнесла это ровно, как читают правило. — Он не сможет не начать. Он будет искать слово, которым был, и это слово сожжёт его изнутри.

Ты хочешь увидеть брата — а увидишь стекло.

Дарёна положила руки на колени и посмотрела на свои пальцы.

— Вы его убиваете медленно, — сказала она.

— Мы его кормим, — сказала Аглая. — Мы все платим Огню, чтобы зимы не съели нас целиком. Твоя семья платила дважды. Ты знаешь, что за шесть лет долина отдала четыреста двенадцать имён?

— Не знаю.

— Четыреста двенадцать, — повторила Аглая. — А тепла стало меньше. Не больше, дитя. Меньше. — Она смотрела на неё внимательно. — Твой отец не выпил воду. Его держали силой, и он вырвался, и с тех пор в вашем доме говорят вполголоса. Мы знаем про твой дом больше, чем ты думаешь. Мы записываем всё, что нам говорят, а нам говорят всегда.

— Тогда вы знаете и про меня.

— Пока нет. — Аглая помолчала. — Скажи мне вот что. Твоя мать пела?

Дарёна не ответила сразу. В горле стало тесно.

— Все бабы поют, — сказала она.

— Не все. — Аглая чуть улыбнулась, и улыбка вышла сухая. — Я знала одну женщину из Крутого Лога. Она пришла сюда пешком, по первому льду, и стояла, где ты стоишь, и просила вернуть сына. Ей сказали то же, что я говорю тебе. Она сидела на том же стуле и молчала так долго, что я успела дочитать главу.

— И что вы ей сказали?

— Я спросила, поёт ли она. — Аглая сложила руки. — Она ответила: только колыбельные. Больше ничего.

— А ты? — спросила Аглая, не меняя голоса.

— Что я?

— Ты поёшь?

Дарёна смотрела на неё, и в горле стояло так, что каждое слово приходилось проталкивать.

— Нет.

— Жаль, — сказала Аглая. — Мне говорили, что в вашем доме пели много.

Дарёна смотрела на край стола и держала лицо.

— Она умерла, — сказала она.

— Знаю. — Аглая помолчала. — Соболезную, дитя. Хотя, по правде, соболезновать нечему: она перестала быть тем, кто помнит. Иным это легче.

— Мне не легче.

— Вот поэтому ты здесь. — Аглая подалась вперёд ровно на палец. — Слушай меня, Дарёна Ольхова. Я предлагаю тебе жить. Не за так, разумеется. Останешься послушницей. Хлеб, тёплая келья, работа при книгах — грамотных мало, а ты читаешь по складам, я вижу по тому, как ты смотришь на буквы. Через год-два из тебя выйдет писарь. При Доме. Навсегда.

— И брата я не увижу.

— И брата не увидишь. — Аглая не отвела глаз. — За-

то будешь жить в тепле и умрёшь в тепле, а не в снегу. Это больше, чем получает большинство из тех, кто сидит у меня в приёмной.

Дарёна посмотрела на окно. Там, за толстым стеклом, стояли Спящие, и самой верхней из них — она знала это с детства — был старик с бородой до колен, и борода у него была белая от снега.

— У вас тут двери запираются снаружи, — сказала Дарёна.

— Запираются, — согласилась Аглая.

— И послушницы не ходят в город?

— Ходят. С поручениями и в сопровождении.

— И свой нож я назад не получу.

— Получишь. На кухне.

Дарёна встала.

— Тогда это не жизнь, — сказала она. — Это келья в тепле. Вы меня не обманули, я сама вижу.

Аглая кивнула, будто получила ответ на давно заданный вопрос.

— Мы не забираем имён, дитя. Мы охраняем тишину, чтобы кто-нибудь не разбудил гору. Если ты останешься и поймёшь это — останешься по-настоящему.

— Я не останусь.

— Твоему отцу передать что-нибудь? — спросила Аглая. — Он шесть лет сюда не поднимался. А ведь мог: мы бы его приняли.

Дарёна задержалась у двери.

— Что бы вы ему сказали?

— То же, что всем, — сказала Аглая. — Что сына больше нет. А он есть.

— Приходи до оброка, — сказала Аглая и потянулась к чашке. — До оброка я ещё говорю с людьми. После — со списком.

Дарёна пошла к двери.

— Тебя вписали в книгу у ворот, — сказала Аглая ей в спину, не повышая голоса. — Я видела. Пока имя в книге, у тебя есть номер, а с номером можно работать. Береги имя, Дарёна Ольхова. Здесь многие начинали с того, что теряли его просто из разговора.

Дверь была толстая, тяжёлая, без ручки с этой стороны. Дарёна толкнула её и вышла.

В коридоре было тише, чем в кабинете. Глушители её не тронули, только один показал палкой на поворот. Она пошла по тёплому полу, мимо полок с книгами, мимо закрытой двери, из которой слышалось бормотание — ровное, на одной ноте, много голосов сразу.

Крик пришёл, когда она поравнялась с этой дверью.

Короткий — так кричит человек, когда его дёрнули за руку, а не когда бьют. Потом голос поднялся выше и стал не голосом, а звуком: лесопильня, пила, стеклянная струна. Дверь вздрогнула. Снизу, из-под неё, поползло белое — не дым, а пар, и он нёс запах гари и мокрой бумаги.

Звон оборвался. За дверью стало тихо, и в этой тишине слышно было, как кто-то дышит — коротко, часто, как после долгого бега.

Дарёна стояла, прижав ладонь к холодной двери. За дверью кто-то заговорил спокойно, будто перечислял:

— Имя?

И тишина.

— Имя, — сказали за дверью ещё раз.

Дверь приоткрылась, и вышли двое в кожаных фартуках: один с тряпкой, другой с совком. Они опустились на колени и стали собирать с пола белое — оно не впитывалось в тряпку, а размазывалось по камню, и камень от этого делался светлее.

— Что это было? — спросила Дарёна.

— Сцедили, — сказал тот, что с совком, не поднимая головы. — Иди, девка. Тут тебе не место.

Она хотела спросить ещё и не спросила: из двери пахло гарью и мокрой бумагой, а в этом запахе не было ничего, о чём можно спросить.

Писарь вышел из-за поворота, молодой, в чистых рукавах, с ведром в руке. Увидел её, остановился.

— Тебе чего?

— У меня железо в закладе. Номер семьдесят три.

— Заклад — внизу, у стражи. — Он посторонился и добавил уже спокойнее: — Не стой тут. Тут не стоят.

Дарёна пошла. У лестницы она взялась за перила, постоя-

ла, считая, как падают шаги: сначала её собственные, потом чужие, потом опять её. Потом прошла ещё два марша вниз и свернула не к выходу.

— Куда? — окликнули сзади. — Там службы.

— Знаю, — сказала Дарёна и пошла дальше.

Дальше была архивная лестница, низкая дверь с железной скобой — запертая. Сторож из-за неё, не открывая, сказал, что до утренней трубы туда не входит и настоятельница. Тогда Дарёна спустилась вниз, к воротам, в обозную караулку, где и устроилась ночевать, не снимая плаща.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.